



Е. К. ГЕРЦЫК

Воспоминания

<Фрагменты>

Нам с сестрой с первых же дней довелось узнать Волошина не таким, каким запомнили, зарисовали его другие современники: в цилиндре, на который глазела петербургская улица, сеющим по литературным салонам свои парадоксы, нет — проще, тише, очеловеченней любовной болью.

В конце мая мы в Судаке, и в один из первых дней он у нас: пешком через горы, сокращенными тропами (от нас до Коктебеля 40 верст), в длинной, по колена, кустарного холста рубахе, подпоясанной таким же поясом. Сандалии на босу ногу. Буйные волосы перевязаны жгутом, как это делали встарь вихрастые сапожники. Но жгут этот свит из седой полыни. Наивный и горький веночек венчал его дремучую голову.

Из рюкзака вынимает французские томики и исписанные листки — последние стихи.

Я иду дорогой скорбной в мой безрадостный Коктебель...
По нагорьям терн узорный и кустарники в серебре.
По долинам тонким дымом розовеет внизу миндаль¹...

И еще в таких же нерифмованных античных ладах. Музыка не жила в Волошине — но вот зазвучала музыка.

Не знаю, может быть, говорит во мне пристрастие, но мне кажется, что в его стихах 7-го года больше лиризма, меньше, чем обычно, назойливого мудрствования, меньше фанфар. В кругах символистов недолюбливали его поэзию²: все сделано складно, но чего-то чересчур, чего-то не хватает...

Помню, долгие сидения за утренним чайным столом на террасе. Стихи новейших французов сменяются его стихами, потом сестриными, рассказами о его странствиях по Испании, Майорке, эпизодами из жизни парижской богемы... Горничная убирает посуду, снимает

скатерть, с которой мы поспешно сбрасываем себе на колени книги и тетради. Приносится корзина с черешнями — черешни съедаются. Потом я бегу на кухню и приношу кринку парного молока. Волошин с сомнением косится на молоко (у них, в солончаковом Коктебеле, оно не водилось), как будто это то, которое в знойный полдень Полифем надоил от своих коз. И вот он пересказывает нам — не помню уже чью, какого-то из неосимволистов — драму: жестикулируя, короткой по росту рукой, приводит по-французски целые строфы о Полифеме и Одиссее. В театре Расина античность являлась подмороженной, припудренной инеем. А вот Волошин воспринял ее в ядовитом оперении позднего французского декаданса. Все вообще до него дошло, приперченное французским *esprit**. Ему любы чеканные формулировки, свойственные латинскому духу: например, надпись на испанском мече: «No! No! Si! Si!»³ — не потому ли, что сам он никогда ничему не скажет «нет»? Восполняя какую-то недохватку в себе, он в музеях заглядывался на орудия борьбы, убийства, даже пытки.

Подмечаю, как, рассказывая о своей беседе с Реми де Гурмоном⁴, тонким эссеистом и языковедом, он с особенным вкусом останавливается на обезображенном виде его: лицо изъедено волчанкой, обмотано красной тряпкой, в заношенном халате, среди пыльных ворохов бумаг — таким он увидел этого изысканнейшего эстета. Парадоксальность в судьбе человека всегда манит его. В судьбе человека — в судьбе народов, потому что Волошин с легкостью переходил на широкие исторические обобщения. Заговариваем о революции — ведь так недавно еще 5-й год, так тревожит душу, не сумевшую охватить, понять его...

— Революция? Революция — пароксизм чувства справедливости. Революция — дыхание тела народа... И знаете, — Волошин оживает, переходя на милую ему почву Франции, — 89-й год, или, вернее, казнь Людовика, — корнями в 14-м веке, когда проискамы папы и короля сожжен был в Париже великий магистр ордена Тамплиеров Яков Молэ, — этот могущественный орден замышлял социальные преобразования, от него и принципы: *egalite*** и т. д. И вот во Франции пульсация возмездия, все революционное всегда связано с именем Якова: крестьянские жакерии, якобинцы⁵...

Исторический анекдот, остроумное сопоставление, оккультная догадка — так всегда строилась мысль Волошина и в те давние годы, и позже, в зрелые. Что ж, и на этом пути случаются находки. Вся эта французская пестрядь, рухнувшая на нас, только на первый взгляд

* Дух (фр.).

**Равенство (фр.).

мозаична — угадывался за ней свой, ничем не подсказанный Волошину опыт. Даром, что он в то время облакался то в слова Клоделя, то в изречения из Бхагаватгиты по-французски...

Но Волошин умел и слушать. Вникал в каждую строчку стихов Аделаиды, с интересом вчитывался в детские воспоминания ее⁶, углубляя, обобщая то, что она едва намечала. Между ними возникла дружба или подобие ее, не требовательная и не тревожащая. В те годы, когда ее наболевшей душе были тяжелы почти все прикосновения, Макс Волошин был ей легок; с ним не нужно рядиться напоказ в сложные чувства, с ним можно быть никакой. А он, обычно такой объективный, не занятый собой, чуждый капризов настроений, ей одной, Аделаиде, раскрывался в своей внутренней немощи, запутанности. «Объясните же мне, — пишет он ей, — в чем мое уродство? Все мои слова и поступки бестактны, нелепы; всюду, и особенно в литературной среде, я чувствую себя зверем среди людей, — чем-то неуместным... А женщины? У них опускаются руки со мной, самая моя сущность надоедает очень скоро, и остается одно только раздражение. У меня же трагическое раздвоение: когда меня влечет женщина, когда духом близок ей — я не могу ее коснуться, это кажется мне кощунством...» Так он говорил и этим мучился. Но поэту все впрок. Из этого мотка внутренних противоречий позднее, через несколько лет, он выпрял торжественный венок сонетов: «В мирах любви неверные кометы»⁷.

Как-то среди лета Волошин появился в сопровождении невысокой девушки, черноволосой, с серо-синими глазами. Ирландка Вайолет, с которой он сблизился в художественных ателье Парижа.

<...>

Эта тихая Вайолет так и осталась в России, прижилась здесь, через несколько лет вышла замуж за русского, за инженера, и, помню, накануне свадьбы, в волнении сжимая руки сестры моей, сказала ей: «*Max est un Dieu!*» *

На нашей памяти Вайолет была первой в ряду тех многих девушек, женщин, которые дружили с Волошиным и в судьбы которых он с такой щедростью врывался: распутывая застарелые психологические узлы, напрогночивал им жизненную удачу, лелеял самые малые ростки творчества⁸... Все чуть не с первого дня переходили с ним на «ты». Какая-нибудь девчонка, едва оперившаяся в вольере поэтесс, окликнула его, уже сидящего: «Макс, ну, Макс же!» Только мы с сестрой неизменно соблюдали церемонное имя-отчество, но за глаза, как все, называли его «Максом». И в памяти моей он — Макс.

<...>

* Макс — это бог (фр.).

С годами круг близких людей менялся, но среди них, то зимою в Москве, то летом в Крыму, время от времени появлялась фигура Волошина. Он тоже уж не с нами переживал самое живое, актуальное, и только спешил при свидании поделиться, перерассказать все. Коктебель делался людным: комната за комнатой, терраса за террасой пристраивались к волошинской даче. Богемный, сумасшедший дух коктебельцев был не по нас. Мы с сестрой в те предвоенные годы — точно под нависшей тучей — каждая по-своему, мучаясь, переживали религиозные искания. Вместе с теми, кто стал нам тогда близок, подходили к православию, отходили — искали чистых истоков его. Вплотную к душе, к совести подступил вопрос о России. Когда Волошин слышал эти разговоры, у него делалось каменно-безучастное лицо. А меня раздражали его все те же пестро-литературные темы.

«А Россия, Максимилиан Александрович, почему вы никогда не задумываетесь над ее судьбой?»

Он поднимает брови, круглит глаза.

«Как? Но я же для этого и жил в Париже, а теперь, чтобы понять Россию, мне нужно поехать на Крайний Восток, в Монголию». — Он в то время носился с этим планом.

Я, конечно, огрубляю его слова, было сказано сложнее, но суть та же, и я, смеясь, сообщала кому-то: «Макс, чтобы найти Россию, едет в Париж и в Монголию...»

Но так ли это нелепо? Ведь в последние годы жизни он и вправду нашел, выносил, дал свое понимание России, ухватил срединную точку равновесия в гигантских весах Востока и Запада. Что Восток и Запад, — может быть, ему, чтобы выверить положение России и суть ее, нужно было провести звездные координаты...

Здесь, мне кажется, я нащупываю сердцевину его мирочувствия вообще, пальцем закрываю одну маленькую точку, на которой — все.

Какой внутренний опыт выковал своеобразие волошинской поэзии с ее прожилками оккультных и древних идей, неотторжимых от самого в ней интимного? Послушаем его признание:

Отроком строгим бродил я
По терпким долинам
Киммерии печальной...
Ждал я призыва и знака,
И раз пред рассветом,
Встречая восход Ориона,
Я понял
Ужас ослепшей планеты,
Сыновность свою и сиротство...⁹

Для многих людей отношение их к земле — мера их патетической силы, мера того, что они вообще могут понять. Еще из детства доносится бесхитростное Шиллерово:

Чтоб из низости душою
Мог подняться человек,
С древней матушкой-землею
Он вступил в союз навек¹⁰.

Карамазовы иступленно целуют землю... По-другому и к другой земле склоняется Волошин — к земле в ее планетарном аспекте, к оторванной от своего огненного центра, одинокой. (Замечу в скобках, что это не декадентский выверт: что земля — стынущее тело в бесконечных черных пустотах, — это реально так же, как реальны города на земле, как реальна человеческая борьба на ней. Кому какая дана память!)

<...>

В своем физическом обличе сам такой материковый, глыбный, с минералом иззелена-холодноватых глаз, Макс Волошин как будто и вправду вот только что возник из земли, огляделся, раскрыл рот — говорит...

История человека начинается для него не во вчерашнем каменном веке, а за миллионы миллионов лет, там, где земля оторвалась от солнца, осиротела. Холод сиротства в истоке. Но не это одно. Каждой частицей своего телесного состава он словно помнит великие межзвездные дороги. Человек — «путник во вселенной»

...солнца и созвездья возникали
И гибли внутри тебя...¹¹

Что это значит? Значений может быть много. Возьмем простейшее: впервые в сознании человека раскрывается смысл и строй того, что до него совершалось вслепую — вглухую. Не одной земле — всей вселенной быть оком, быть голосом...

Все это мы вычитываем в его стихах, но это же и ключ к его человеческому существу, к линии его поведения, ко всему, вплоть до житейских мелочей. Отсюда та редкая в среде писателей свобода, независимость, нечувствительность к уколам самолюбия. Он всегда казался пришедшим очень издалека — так издалека, что суждения его звучали непривычно, порой вычурно. Но вычурность эта не словесная игра: сегодня — так, завтра — этак, а крепкие ветви из крепкого коренья.

Те, кто знали его в эпоху гражданской войны, смены правительств, длившейся в Крыму три с лишним года, верно, запомнили, как чужд он был метанья, перепуга, кратковременных политических восторгов.

На свой лад, но так же упрямо, как Лев Толстой, противостоял он вихрям истории, бившим о порог его дома. Изгоем оставался при всякой власти. И когда он с открытой душой подходил к чекисту, на удивление вызывая и в том доверчивое отношение, — это не было трусливое подлаживание. И когда он попеременно укрывал у себя то красного, то белого, и вправду не одного уберег, — им руководили не оппортунизм, не дряблая жалостливость, а твердый внутренний закон.

Нет, он не жалостлив. Жесткими штрихами, не минуя ни одной жестокой подробности, рисует он русскую историю в своих стихотворениях последнего периода. Впрочем, назовешь ли их стихами? Он их так называл. Не с того ли времени, как он до конца осознал свою мысль, не стало ему охоты рифмовать, раскачивать метром свои поэтические замыслы? Теперь он, как сам говорит, слово к слову «притачивает, притирает терпугом»¹², ища только наиболее крепкого, емкого. Утекает последняя влага — не своя, заемная — только хруст да трение сопротивляющегося материала. Люб — не люб нам этот стих, но он точнее отражает внутреннее сознание поэта.

Я не пишу истории жизни Волошина. Из рассказа моего о нем выпадают целые периоды. Другие полнее опишут последние коктебельские годы...<...>

Не в шумном окружении — мне запомнился одинокий зимний Макс — Jupiter Fluxior*. Он все так же схож со своим каменным подобием — Зевсовым кумиром, — когда в долгой неподвижности клонит поседелую гриву над маленькими акварельками. Слушает, спрашивает, не слушает, а рука с оплывшими пальцами терпеливо и любовно водит кисточкой. Преждевременно потучневший — ему нет пятидесяти — не от сердца ли? Так старый любовник, как зачарованный, опять и опять повторяет все ее черты — то алой на закате, то омраченной под дымной завесой, — но все ее, Единственной, «Земли Незнаемой».

Но холод гонит нас из мастерской в соседнюю комнату — столовую, где потрескивает печурка. Там, за обеденным столом, бездомный крымский помещик, которого Волошин приютил. Перед ним годовой комплект «Temps» пятилетней, а то и большей давности. Вытянув подагрические ноги на другой стул, он, когда-то частый гость парижских бульваров, услаждается новостями оттуда, — даже забывает брюзжать на «проклятых товарищей».

— Ого, Максимилиан Александрович, послушайте-ка, что они в Одеоне ставят...

Смеющимися глазами Волошин поглядывает на меня. Мы устраиваемся на другом конце того же стола — тетради, книги перед нами.

* Юпитер льющийся (лат.).

Он читает свои последние стихи, обсуждаем их. Читает новых поэтов, толкует мне их.

Потом у керосинки разогреваем обед. Мария Степановна, жена его — суровая и заботливая подруга последних лет, — уехав по делам, наварила на два дня. Темнеет. С лампой в руках, укутавшись шальями, бродим вдоль книжных полок в его мастерской. Волошин выискивает мне интересные новинки. Мелькают книги нашей молодости... И за полночь засиживаемся, говоря уже не о книгах, о людях, близких и далеких, о судьбах, о смертях. Свои вправду мудрые и простые слова он по-старому выражает нарочито парадоксально. Что это? Прихоть? Декадентский навыв? Стыдливость души, стыдящейся быть большой?

И вот последняя страничка о Волошине.

<...>

В 1930 году мы потеряли близкого человека. Максимилиан Александрович прислал нам большую акварель — все та же земля Киммерийская в тонах серебристо-сизых с облаком, повисшим над горой. Он написал: «Только что узнал о смерти Е. А.¹³ Радуюсь за нее. И глубоко сочувствую вам. Примите это видение на память о ней».

Смерть не страшила его, быть может, в иные дни в глубине влекла, как того, чей дух полон, мысль додумана. В августе 32-го года он умер. В своей предсмертной болезни, как мне писали потом, был трогательно терпелив и просветлен.

